



Заговор

Дмитрий

Рагозин

Дмитрий Рагозин

Заговор

«НЛО»

Рагозин Д.

Заговор / Д. Рагозин — «НЛО»,

ISBN 978-5-44-481425-3

Героем нового романа Дмитрия Рагозина движет нетерпение и тревога, он стремится изменить современный мир и вовлекается в таинственную политическую деятельность. Отказавшись от размеренной жизни, герой-аноним пребывает в постоянном скольжении между людьми и ландшафтами, не находя себе места ни в тесных интерьерах конспиративных квартир, ни в многолюдной широте московских бульваров, ни в тишине приусадебных участков. Напоминающий русские романы Владимира Набокова, лабиринтообразный мир «Заговора» буквально на каждой странице оборачивается новыми гранями: сюрреалистической мелодрамой, черной комедией, остросюжетным детективом, – помещая читателя в самую сердцевину авантюрной жизни героя. Дмитрий Рагозин – автор книг «Дочь гипнотизера» (2007), «Укалегон» (2010), «Невеста» (2013).

ISBN 978-5-44-481425-3

© Рагозин Д.

© НЛО

Содержание

О романе «Заговор» Дмитрия Рагозина	5
Дмитрий Рагозин	7
1	7
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Дмитрий Рагозин

Заговор Роман

О романе «Заговор» Дмитрия Рагозина

«Заговор» Дмитрия Рагозина относится к произведениям, на первый взгляд намеренно дистанцирующимся от прямых отсылок к сегодняшнему дню, но, в конечном итоге, оказывающимся едва ли не лучшим свидетельством о нем. Как и в любой аллегории, представление о настоящем возникает здесь исподволь, на краю синтаксических и смысловых интервалов. Конечно, подобных примеров в истории литературы множество, но в случае прозы Дмитрия Рагозина (и, в особенности, «Заговора») уместно говорить о связи с литературой высокого модернизма, которая рассказывает нам о мире между двумя мировыми войнами гораздо больше, чем мемуары того же периода. Помимо центральной коллизии романа Рагозина – некоего загадочного заговора, который становится формой жизни главного героя, отсылающей нас к схожей топике романов Кафки и Набокова, – буквально на каждой странице есть намеки на тексты из давнего или недавнего прошлого. При этом задача непростого и виртуозно написанного «Заговора» совсем не меморативная, не только стилистическая, но прежде всего политическая. Конечно, «политическое» здесь следует понимать в расширительном смысле, не связанном с поэтикой прямого действия или ангажированностью автора, который дистанцируется от поля литературы. Политическое в романе Рагозина является двигателем отношений между героями; но оно же неотъемлемо связано с самим жанром романа, который, как у Элиаса Канетти или Роберта Музиля, оказывается воображаемым пространством, где разрешаются конфликты, настойчиво вытесняемые за пределы социального контекста. Основной такой конфликт – невозможность примирить видимую сторону жизни и ее скучноватый здравый смысл, со скрытой от посторонних глаз ипостасью находящегося на грани растождествления подпольного человека. Причем оба плана существования героя разворачиваются одновременно, обрекая его на одиночество, сепарируя от любых форм общественной жизни, о которой он отзывается с плохо скрываемой брезгливостью.

Почти сто лет назад подобный конфликт стремился разрешить в своих романах Владимир Набоков, с которым Рагозина роднит тяга к прихотливому синтаксису и антиутопиям: невротическая ирония «Заговора» хорошо бы подошла любому набоковскому тексту 1930-х годов, но более всего – клаустрофобическим декорациям романа «Приглашение на казнь», созданного как раз в тот момент, когда описанные в нем вещи стали реальностью сразу в нескольких европейских регионах. Можно сказать, что Рагозин начинает там, где Набоков заканчивает, оставляя приговоренного к смерти Цинцинната Ц. наблюдать, как рушатся декорации наспех склеенного мира, в которые он был против своей воли помещен: «Мало что осталось от площади. <...> Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа <...> Все распадалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашенные щепки, мелкие обломки подлащенного гипса, карманные кирпичи, афиши <...>». Конечно, ни разу не названный по имени герой «Заговора» обнаруживает гораздо большую решимость, чем раздавленный пошлостью мира Цинциннат. Понимая, что гротескный мир «крашенных щепок» и «подлащенного гипса» выталкивает его за свои пределы, герой-аноним стремится в самую его сердцевину, ввязываясь в странную борьбу, которая в итоге должна привести к свержению очередного опереточного тирана. Выписывая виртуозные стилистические круги вокруг так до конца и не проясненного заговора, Рагозин связывает инстинкты политического животного и рефлексы частного человека. Это конфликтная связь погружает героя в лабиринтообразное подполье, воспоминания о прошлом перемежаются театрализованными встречами с друзьями

и врагами, которые сменяются странными, но эффектными политическими акциями и провокациями. Есть ли выход из этого лабиринта кажимостей? Ответ на этот вопрос – в самом романе, герой которого, превращая гамлетовский монолог в чистосердечное признание, стремится заговорить пустоту, проявляющуюся на месте нашего – частного и общего – существования.

Денис Ларионов

Дмитрий Рагозин

ЗАГОВОР

1

Я расскажу вам все, что вы хотите от меня услышать. Я устал скрывать, скрываться. Об одном прошу – поверить мне на слово. Надеюсь, мне зачтется, что явился я добровольно, явился с повинной.

К своей прошлой жизни я нахожусь в положении всезнающего автора и вынужден, дабы сохранить последовательность рассказа, прятать от себя то, что мне известно, – входить в лифт, не подозревая, что он остановится между восьмым и девятым этажами, устранять неугодных замыслу, вкладывать душу в женщину – в одну, в другую, в третью, которая уже и не женщина, а мое превратное представление о ней. Это беда чистосердечных признаний. Как освободиться от опыта, изобразить прошлое так, будто оно еще не прошло, сбежать от рассказчика, от его пронзительного взгляда? Увы, не обойтись без подмен и подтасовок, сообщающих истории толику связности и покаянного правдоподобия.

Но о чем я? Вы знаете обо мне больше моего. У вас все запротоколировано. Вам проще восстановить хронологию. Время – в вашем распоряжении. Прожитое не укладывается в даты, не поддается описанию. Иногда мне кажется, что я был не один, нас было двое, трое, современников, соименников, то державшихся вместе, то шедших разными путями. Когда начинаешь ворошить прошлое, концы с концами не сходятся. Вспоминается то, чего по документам не могло быть, что-то немислимое. Люди, с которыми я познакомился в зрелом возрасте, вдруг бесцеремонно вторгаются в детство. Дом превращается в колоду крапленых карт. Слова теряют смысл. Улица впадает в лес.

Вы требуете начать с детства – для «полноты картины». Вы уверены, что уже тогда во мне зародились преступные мечты, которым суждено было, используя вашу риторику, дать ядовитые всходы. Но это все равно как если бы влюбленный на первом же свидании стал рассказывать о своем детстве барышне, которая еще только присматривается и не определилась в выгоде чувств. Трудно поверить, что он сможет расположить ее к себе рассказом о дворовых играх и шалостях. Время расходится кругами, и безразлично, куда упадет наугад подброшенный камень, возмущая гладь. Ошибка памяти! Измены, предательства, двуличие. Вверх тор-машками, задом наперед. Начну по-простому, с того, что ближе, с произошедшего этим летом, после того как Капустин (надеюсь, его имя вам ничего не говорит) настоятельно посоветовал мне уехать на время из города, не только ради моей безопасности, но и ввиду того дела, которому я служу. Я вспомнил о пустующей даче, которую ее хозяин, уезжая *насовсем*, оставил в мое распоряжение:

– Дом на отшибе. Сооружение хлипкое, сложенное на скорую руку, вроде тех повестушек, которые маститые романисты пишут, когда их оставляет вдохновение. Участок – картинно дик. Соседние дачи держатся на почтительном расстоянии и вообще предпочитают не показываться на глаза, притворяясь нежилыми.

Моя жена Нина, замученная журнальной поденщиной, давно мечтала о тихой заводи, где она могла бы дать ход воображению, и мое бегство из города не встретило препятствий.

Итак, в деревню. Отдохнуть, привести в порядок мысли, наметить линии. Последнее отступление перед решающим ударом по пустышке власти (хлопок, облачко зловония). Если под отдыхом понимать треугольник, вписанный в круг, я обманулся. Мне было скучно, тоск-

ливо, тошно. Я не люблю сельскую местность (она мне ничего не говорит), страдаю покоем. Здравомыслие не в моем характере. Созвездия, намеченные мелом на черном небе, меня не то чтобы пугают, но и не манят. А строить планы на будущее – занятие пустое. Я рассчитываю на случай, на непредсказуемое. Когда работаешь с людьми, а не машинами, каждый норовит тишком проташить в общее дело свою историю, свой фатум, свой фантом. Подчинить молниеносной воле этот «толкучий рынок» дано лишь вдруг, нечаянно, по наитию: невольно. Так, гуляя за кулисами, дергаешь невзначай за какую-то веревочку, и в тот же миг люстра падает на рукоплещущий зал. Или, задумчиво постукивая по стене, доводишь до безумия смирного соседа. План должен меняться каждую минуту, а мы не можем уследить даже за тем, что происходит у нас на глазах, и понять, что же, в конце концов, произошло.

Дом был невелик и лаконичен. На нижнем этаже – гостиная с выходом на узенькую террасу, кухня, примитивная ванная, комнатка для незваного гостя. Вверх по лестнице – спальня и кабинет. Все это шаталось, скрипело, постанывало, но казалось, что к непосредственным впечатлениям примешиваются шумы и сотрясения, идущие из прошлого, сохраненные этими памятьливыми стенами. Нина отмахивалась от моих теорий. Она не верила в то, что у вещей есть своя жизнь и что не существует вещей неодушевленных. Я же с первых дней почувствовал, что дом как будто затаил что-то против меня. Он задавал мне задачи, не имеющие ответа. Провоцировал на граничащие с безумием поступки. На круглом столике, накрытом темно-красной скатертью, лежал нож с костяной, отбитой на конце ручкой. Картина, повешенная в темноте над лестницей, изображала битву кентавров. В кухне восседала кукла из грубо связанных пучков соломы, которую, кажется, используют поселяне в своих ритуалах. Книги на полке склонялись в сторону чистого разума. Старый бинокль в потрескавшемся кожаном футляре, когда я заглянул в его очи, показал мне рыжеватые скалы, взморье и одинокую купальщицу, лежащую на животе. Колода карт пахла мышами и мышками. Папка с детскими рисунками совсем меня расстроила. Лошадь-качалку я задвинул под лестницу. Очевидно, что в наборе вещей, скопившихся в дачном доме, таился какой-то смысл, но он от меня ускользал, да и не мог быть открыт тому, кто явился на все готовое.

Я познакомился с Ниной у Епифанова. Вы, конечно, читали его карманные криминальные романы: «Остров без сокровища», «Рассеянный убийца», «Спросите у нее» (в последних переизданиях просто «Нее»). В одном из этих убористых томов вы могли между прочим встретить и меня. . . Я выведен, правда, с худшей своей стороны, сатирически, но сходство отрицать невозможно. Это его метод. Покопавшись пристрастно, вы отыщете на зачитанных в общественном транспорте и частных сортирах страницах – его приятелей, родственников, любовниц, случайных попутчиков, зевак, литературных критиков и критикесс, женщину в красной шляпе, прошедшую мимо, не удостоив его страдающим взглядом, прихрамывающего официанта с седым вихром, в черных очках, корпулентную продавщицу в сандалиях на босу ногу, но только не его самого. Епифанов объясняет это тем, что он выше своих сочинений, но я подозреваю в нем страх, отдавшись сновидению, оказаться без штанов на балу, среди танцующих пар. Не знаю, как вам, а мне за него стыдно. Если уж назвался писателем, будь добр – яви себя публике во всей красе своего ничтожества. А то что же получается? Мы кружимся в танце, беспокойно поглядывая на дверь, а он все не идет и не идет, и только потому, что, видите ли, не может найти дрожащими пальцами пуговиц, застегивающих ширинку.

Я подружился с Епифановым в те давние времена, когда он еще «подавал надежды», и надежды эти были, надо признать, не слишком блестящие. Короткие рассказы, которые он изредка зачитывал на наших литературных «пятницах» тихим, трясущимся голосом, вызывали у слушателей недоумение отсутствием событий, описаний и диалогов. Нас свела общая неприязнь к поэзии, особенно элегической. Когда кто-нибудь начинал декламировать стихи, если это не была А., услаждавшая не столько ум, сколько умственные взоры, мы переходили

в соседнюю комнату, где обычно отсиживались попутчики, то есть те, кто приходил на «пятницы» не для того, чтобы выслушать и разнести в пух и прах очередной опус юного гения, а просто скоротать время за злоязычной болтовней.

Был он тогда невзрачен, неряшлив, недалек. Я проводил вечера в его мрачной, тускло освещенной квартире, переводя в шутки неприязнь, с которой на меня смотрели его громоздкие родители и мозглявая старшая сестра. Они считали, что я плохо влияю на Сашеньку. Мы никогда не обсуждали с ним его литературные упражнения. Мне запомнилось, как мы стояли на остановке под холодным дождем, молча глядя в конец улицы, где должен был появиться автобус.

Заговор все дальше уводил меня от жизни, но не могло быть и мысли о том, чтобы вовлечь Епифанова в тайную сеть. Мало того что он по всем параметрам был ненадежен, склонность к дозволенной фантазии приносит пользу лишь узникам и их надзирателям. Попробуйте придумать побег, у вас ничего не получится. Мы виделись все реже и вскоре потеряли друг друга из виду. Прошло немало лет, прежде чем он, разочаровавшись в интимных лабиринтах, обреченных пылиться и разлагаться, встал во весь рост на прямой путь и его имя вдруг сделалось доходным товаром, а я успел прослыть Безымянным (с этим прозвищем я блуждал по inferнальным кругам подполья). Мы как-то случайно встретились на почте, я отсылал отравленную бандероль на адрес министра культуры, редкого мерзавца, а он получал посылку с антоновскими яблоками от какой-то своей провинциальной поклонницы. Епифанов меня узнал, несмотря на бороду и парик. Я стал к нему захаживать. Он изменился. Жадно слушал мои истории, которые я тем свободнее рассказывал, что он отказывался в них верить. И я не мог скрыть разочарования, когда через год, получив от него в подарок очередной шедевр в мягкой обложке, узнал себя в главном герое – хладнокровном убийце, остающемся вопреки правде жизни безнаказанным. И это все, чем он поживился? Как если бы человек, вернувшись из цирка, стал метать ножи в жену или распиливать ее в надежде на чудо.

Как-то раз мы сидели у него, беседуя за коньячком о жизни после смерти. Епифанов полагал, что посмертный путь зависит от того, была ли смерть естественной или насильственной. Я рассеянно листал книги, сваленные на диван, – ни одной крамольной, достойной внимания.

– В чем же разница? – спросил я.

В этот момент раздался звонок в дверь.

– Я совсем забыл, это из «Плебея», интервью, – самодовольно поморщился Епифанов, но в ту же минуту запел телефон, и он, делая мне красноречивые жесты руками, ушел, прихлопнув дверь, в кабинет, чтобы выяснять отношения с одной из своих начитанных любовниц (он был нарасхват).

Я провел из прихожей в гостиную высокую элегантную даму со странной взвинченной прической. У нее был длинный тонкий нос, маленькие сухие глаза и тонкие, опущенные лямбдой губы. Едва присев в предложенное кресло и натянув на колени юбку, она достала из большой желтой сумки блокнот на пружине и начала сыпать вопросами:

– Откуда вы берете идеи для своих романов?

– Кто ваш идеальный читатель?

– Над чем вы сейчас работаете?

Я отвечал в меру витиевато и нелепо. Она иногда удивленно поднимала близорукие глаза («В наше время быть писателем означает быть вне нашего времени»), но продолжала прилежно записывать.

Вошел Епифанов в пестрых трусах и полосатой рубашке, застегнутой на одну пуговицу. Нина, сощурившись, посмотрела на него, на меня и сразу поняла, кто из нас писатель.

Епифанов расхохотался. Нина, обиженно поджав губы так, что лямбда вовсе исчезла с ее побледневшего и одновременно покрасневшего лица, вскочила, накинута на плечо сумку

и решительно направилась к выходу. Мысленно я поспешил за ней, спустился в заполненном ее духами лифте, стараясь не смотреть в пустое зеркало, нагнал ее на остановке автобуса, протиснулся с ней через плащи и пальто и встал так, что наше шаткое положение вполне можно было бы назвать близостью, сошел вслед за ней на площади Утопленного в крови восстания, не отступая ни на шаг, нырнул в темную подворотню, исписанную темными стихами, поднялся теперь уже в одной с ней кабине и позволяя себе бог знает что на девятый этаж, успел скользнуть в отпертую ею дверь, увидел вышедшего ей навстречу длинноволосого молодца в костюме Адама, который пробасил грозно: «Он тебе дал или ты ему?» и, в расстроенных чувствах, ринулся в растворенное окно.

По своим каналам я узнал все, что было мне нужно. Пишет в журналах и бульварных газетах, живет не первый год с каким-то юным проходимцем, хотя отношения их, как меня уверяли, нельзя назвать безоблачными. Взглядов придерживается умеренных, но скорее провластных. Умна, начитанна. В ее руках часто видят томик прозы Малларме. Питает неприязнь к запаху сирени. Предпочитает позы «рыба, сушащая на солнце жабры» и «порхающие в воздухе бабочки». Во сне нередко встречает незнакомцев, преподносящих ей подарки, которые наяву способны вызвать лишь отвращение. На улице выбирает солнечную сторону, но и тенистые лабиринты старых парков не оставляют ее равнодушной. Не верит в четвертое измерение, духов огня и воды, магию чисел, гороскопы, печатающиеся в бесплатных рекламных газетах, метемпсихоз.

Я позвонил, предложил встретиться. Неожиданно она согласилась. Об этой встрече не хочется вспоминать, но, оказавшись на даче, на лоне природы, я опять и опять возвращался к тому пасмурному дню, разбирая его на кубики, складывая из них новые фигуры, мосты и башенки, восстанавливая все в первоначальной неопределенности. Мы посидели в кафе, прошлись по улицам, по бульвару, расстались, сухо попрощавшись. Я был смущен и подавлен, она разочарована. Оба холодны и немногословны. Я постоянно спрашивал себя, зачем позвонил, а она – зачем согласилась на свидание. Мы искали, но не нашли ничего общего. Я держался натянуто, насмешливо, посматривал на часы, остановился перед витриной с черными чулками и красными перчатками. Я готовился к игре в мяч, к перетягиванию каната, к салочкам, а получилась равнодушная партия в трик-трак. Солнце, скрывавшееся за серой пеленой, вдруг раскрылось бледным веером. Деревья побросали последние листья. В кафе было душно, толстая официантка с забинтованной ногой обмахивалась сложенной газетой с извещением о скоропостижной смерти министра культуры. За соседним столиком два клерка с блестящими лысынями, в синих костюмах с желтыми галстуками, подписывали и передавали друг другу какие-то бумаги. По стене, выкрашенной в отвратительный грязно-оранжевый цвет, скользили узкие тени проходящих за окном. Я заказал пиццу, кофе и клубничный торт, Нина – чашку зеленого чая. Улицы были все как на подбор. Каждую из них мы прошли по несколько раз. Я рассказывал ей о своем детстве:

– Спускаюсь в жаркий полдень во двор. Дерево, как копченая селедка. Два до дыр изъеденных ржавчиной гаража. Никого. Тоскливая тишина. Я брожу по кругу, рассматривая затертые меловые фигуры на неровном асфальте. И вдруг откуда ни возьмись появляется, руки в карманах, Вадик: «Скучаешь, балбес?» Хлопает дверь соседнего подъезда, и выходит Павлик, улыбаясь от уха до уха, уже придумавший, пока сбегал по лестнице, какую-то проказу. Танька и Машка являются всегда вдвоем и делают вид, что идут куда-то по своим девичьим делам, ждут, что их будут уговаривать поиграть. Прибегает с соседней улицы, точно издалека почуяв, пухлая Василиса, в очках-лупах, вертя в руке неизменную скакалку. Постепенно двор заполняется, превращается в страну детей. Все как будто чего-то ждут. И вдруг крик: «А давайте сыграем в разбойников!», или – «В красное и черное!», или – в «Соломенную шляпу!», и тотчас точно незримый вихрь подхватывает гоп-компанию и несется, кружа, по дворам, по переулкам... Я любил игры со множеством участников, со сложными, вызывающими ожесточен-

ные споры правилами. Некоторые тянулись неделями. Например, каждый должен был иметь в кармане листок бумаги с какой-либо буквой. При встрече составлялись слова, фразы. Один раз, помню, получилась фраза...

На бульваре я предложил присесть, но скамейка не успела высохнуть после дождя. Нина шла осторожно, чтобы не забрызгать чулки.

– Всё? – спросила она.

Через несколько месяцев я увидел Нину у Чистяковых. Она была пьяна, глаза блестели загадочно. Длинное платье с тугим лифом делало ее обворожительной. Мы разговорились, как старые знакомые. Откуда-то возник ее сожитель, блондин с черной бородой, и забубнил юношеским басом: «Ты ему дашь? дашь? дашь?» Прихватив со стола бутылку шампанского, она вытащила меня на лестницу. Мы поймали такси и поехали ко мне. Уже почти бесчувственная, она дала себя раздеть и смеялась, не открывая глаз. Проснувшись утром, я обнаружил, что она ушла, даже не оставив в зеркале своего отражения, если только не ушла *через* зеркало, на что намекало свисающее со стула платье.

В тот же день выяснилось, что я, по не зависящим от меня причинам, вновь должен уйти в глубокое подполье. Я съехал с квартиры, наскоро изменил внешность, снял комнату в фанерной конуре с видом на железнодорожные пути, выходил только в сумерки, возвращался под утро и весь день лежал на двугорбом диване, слушая радио. Я привык к таким резким поворотам, и если бы не ее бледно-лиловое платье, которое я иногда вынимал из чемодана и раскладывал на кровати, я бы наверно забыл о ней, увлеченный новыми опасностями и соблазнами. Прошло несколько лет, прежде чем я вновь смог жить открыто. Среди моих знакомых много газетчиков, борзописцев всех мастей, сценаристов и прочей шатии-братии, наша встреча была неизбежна. Нина меня не узнала. «Платье? Какое платье?» Да, она когда-то давно брала интервью у Епифанова, «но разве там был кто-то еще? Я хорошо помню, что мы были вдвоем, все было очень интимно...» Она несколько располнела, так что я мог не жалеть о том, что в грустную минуту бросил платье из окна под колеса проносящегося поезда. И я вдруг понял, что она из тех женщин, которые больше всего любят, когда их обманывают, и ради этого готовы претерпеть самую низменную правду: то, что мне нужно. Это внезапное озарение чудесным образом повлияло на ход дальнейших событий, завершившихся тем, что мы стали жить вместе.

Нина призналась, что до того, как она стала мне близка, я казался ей *слабым*. Я – слабым! Какая ирония! Разумеется, я никогда не рассказывал ей о том, чем занимаюсь в свободное от любви время. Это не для нее. К тому же она верит в противоестественную силу властей, и я не собираюсь ее разочаровывать. Святая простота некоторым женщинам к лицу, к телу. Неведение не устает искушать. В крайнем случае я позволяю себе подшучивать. Пусть думает, что я всего лишь безобидный скептик. Будущее нас рассудит, будущее, которого, как я не устаю повторять, нет и не будет, пока есть прошлое. Я бы не хотел, чтобы она стала другой, изменилась в лучшую с точки зрения моих выстраданных идеалов сторону. Мне не нужна еще одна соратница. Довольно мне отношений.

Новым чувствам не хватает прежних слов. Вращение меня не утешает. Я был как тот человек, который провел всю жизнь в двух измерениях и вдруг начал догадываться о существовании третьего. Весь день в голове звучал когда-то подхваченный стих:

*Мы проснемся,
Пройдем
Через дом.
Ни себя, ни других
Не найдем.*

Может быть, я так и не вышел из детства? Не вышел из игры? И палка в моей руке, стоит захотеть, превращается в Дюрандаль?..

Как видите, в вашем присутствии я делаюсь шелковым. Из меня можно кроить послушные ветру юбки и сорочки для капризных барышень. Почему бы и впрямь не послужить искусству обольщения? Все лучше, чем сидеть за решеткой и ждать, когда принесут завтрак, обед, ужин. Я бы охотно попросил у Нины прощения за ее ошибку, если бы она сама не говорила мне, что любит ошибаться, в том смысле, как я понял, что счастлива она только в тех случаях, когда совершает ошибку, и чем непоправимей ошибка, тем больше счастья.

В то время я, по совету Капустина, занялся экономическими спекуляциями. Этот вид деятельности, сочетающий холодный расчет с риском, позволяет, с одной стороны, использовать слабые точки режима, а с другой – приносит средства, необходимые для борьбы с ним. Один недостаток – приходится быть в постоянном общении с людьми, по психологическому типу близкими к разбойникам и убийцам. Стоит допустить промах, и тебя съедят. Что может быть обидней упущенной выгоды? Только безумец может помешать продвижению нулей к заветной единице. Выигрывает тот, кто равнодушен к проигрышу, а в проигрыше остается тот, кто следует теории. Мне везло, это вызывало зависть и неприязнь. Деньги не должны оставаться долго в одних руках. Если этот моральный императив нарушается, в игру вступают имморальные силы, вплоть до выстрела из-за угла. Конечно, заблуждались те, кто считал меня наивным счастливецом, которого легко если не облапошить, то, обвинив в махинациях, спустить с лестницы. Поскольку я, как и во всем прочем, только притворялся заинтересованным, их выпады проходили сквозь призрак, не задевая жизненно важных органов. Заговор сильнее любой корыстной интриги. И все же есть черта, за которой, как бы ты ни был резв и умен, начинается мрак, боль, колченогие стулья, жирные пятна, паутина. Поэтому, когда Капустин посоветовал мне «выпасть» на какое-то время, я согласился, не раздумывая о том, хорошо это или плохо: стать *осадком*. К тому же я признавал, что слишком увлекся, и экономический интерес, требуя напряжения сил, стал отвлекать меня от главного дела. Пора было выйти из оборота, «зафиксировать прибыль», решение, которым, как я, увы, слишком хорошо понимал, я наживу новых врагов из тех моих друзей, которые все надежды на свое благополучие связывали с моим неизбежным крахом.

Город криворук, кривоног. Недовоплощенная мечта безобразна и мозолит глаз. Здесь я потерял зонтик, здесь – портмоне, здесь – себя. Провалы в памяти образуют улицы, проспекты, площади. Жизнь под присмотром манекенов, печальные эпизоды. Как вор, прихватывающий вместе с вазой букет цветов. Бесчеловечные лестничные пролеты и курсирующие вверх-вниз клетки, набитые слипшимся людом, теряющим по пути вертикального следования невинность, непохожесть, смысл. Мне все это надоело – зажигать и гасить свет в комнате, где одновременно происходят рождение, свадьба, похороны, но поиск экстазов, мерцающих там и сям, как слезливые звезды, приучил меня ценить каждую, даже в отупении счастья или скуки, минуту.

Нина в быту поступает по моему усмотрению, у нее нет своего взгляда, вернее, ее взгляд – блуждает. Я предстаю ей в роли трусливого домашнего деспота, преданного власти и всем ее брутальным атрибутам, вымещающего свое ничтожество на идеалах, мыслящего супружескую связь как череду деликатных пыток. И она, верная своему нраву, не прекословит, завивает волосы, красит ногти. Я сообщил ей о своем решении:

- Пора тебе покончить с поденщиной и стать писательницей.
- Ты будешь мне диктовать?

Странно, в ее словах мне почудилась ирония.

- Я буду твоим наитием, – пообещал я.

И добавил примирительно:

– Так и быть, я придумаю сюжет, а ты займешься описаниями.

И в тот же миг, точно и в самом деле на меня нашло наитие, я сообщил ей сюжет романа, который, по моим понятиям, мог соответствовать рубрике дамского. На большее я не способен, не прирожден. Страстная любовь, пистолет, осенняя роща, потерянная невинность, болезнь тоскующей души, побег, теннисная площадка, как-то так. Реальность не есть что-то данное, а то, что еще только предстоит отыскать, и нет гарантии, что поиски увенчаются успехом. Жизнь не торопится, в отличие от смерти. Кому-то повезет, кому-то нет.

Она засмеялась:

– Я вижу, вижу!

– Тогда самое время в деревню.

«Двор – глубокий колодец, на дно которого не проникало солнце, если не считать бледных шатких пятен, полинялых призраков, сошедших с окон верхних этажей, и волшебного розового свечения, на несколько минут заполнявшего всю вертикаль нашей цитадели в преддверии сумерек, но зато порой в дневные часы, запрокинув голову, можно было видеть сияющую дольку луны, порхающую в глубокой синеве. Не буду привирать, меня еще не посещали тогда мысли о том, что мне предстоит проделать путь от двора к дворцу, и тем более что путь этот будет подпольный. Но больше всего наш двор напоминал те узкие картонные цилиндры, с донной жестянки которых никак не получалось выцарапать последние слипшиеся леденцы...» Притворяюсь тем, кем никогда не был, и вспоминаю чужие воспоминания, как будто это может вывести меня из топкого круга лет, сквозь заросли куги пустить на волю волн. Я начинаю игру с карты, на которой, вопреки всем мыслимым правилам, смешались червы, и пики, и трефы, и бубны. Как будто все, что я хочу рассказать, известно вам из других источников или по личному опыту, и моя роль сводится к тому, чтобы не обмануть ожиданий, и малейшее отступление от жизненной правды, одной на всех, будет встречено шиком и свистом, чтобы, сбегав по лестнице и открыв дверь во двор, я увидел на дне колодца не детвору, а угрюмых взрослых в полосатых робах, бесцельно бродящих взад и вперед.

Мы выехали ранним утром. Розовый со сна, город провожал нас выставкой монументальных красот – длинных колоннад, грозных статуй, пышных башен, дразня: сколько идей, страстей, приключений оставляем мы ради бедной природы! С моста вполоборота открылся приземистый лабиринт дворца, стянутый желтой стеной. Клубясь темной зеленью, протянулся покатым бульвар. Пустой трамвай дребезжал по сияющим рельсам. Редкие прохожие плоско синели в ярких косых лучах набирающего силу солнца. Прошлое казалось сном, улица вводила нас в пророчества, предвестья, знамения. И как будто отвечая на мою мысль, Нина сказала:

– Я предупредила Соню, что мы уезжаем.

При желании в ее словах можно было почувствовать упрек, но я и в самом деле в предотъездной суете забыл...

Город мельчал, затем напоследок вздыбился плоскими спальными башнями. По левую сторону от шоссе в просветах между деревьями вспыхивала река. Отступали совсем уже безжизненные склады, фабрики...

Нина не любит разговоров, когда ведет машину. Глядя на сизую синеву, на однообразные поля, призрачные рощи, я думал, как все последние дни, о своем детстве, вспоминал двор, игры, детские страхи, первые выпады власти и незаметно заснул.

Мне снилось, что я иду по темным коридорам «дворца», осторожно держа кончиками пальцев розовый надувной шар. Это была бомба. Две дамы, которых я принял за «фрейлин», на мой вопрос, не знают ли они, где находится спальня Z, рассмеялись:

– Еще бы нам не знать!

Они проводили меня до двери в спальню и ушли, шелестя серебристыми шлейфами. Дверь была белая, облупившаяся, с желтым потеком по верхнему краю и масляным пятном вокруг ручки. Закатив шар под кровать, я вдруг почувствовал такую усталость, что решил прилечь, немного передохнуть, обдумать, как безопаснее выбраться на волю, и вскоре сон меня сморил. Проснулся я от страшного грохота.

В первое мгновение мне почудилось, что мы едем по дну бурной реки. Вода кипела, клочотала, хлестала со всех сторон. Мелькали молнии.

– Как спалось? – спросила Нина.

Она казалась совершенно невозмутимой, и это пугало сильнее, чем буйство стихии.

Когда мы добрались до дачи, буря утихла, моросил тонкий, как паутина, дождь. Косая крыша поднималась из белесого тумана. По раскисшей дорожке мы перенесли сумки на крыльцо. Я обошел дом по серебристой траве, заглядываясь на одичавший участок. Деревья были похожи на стеклянные чаши, наполненные до краев. Кусты взъерошенно темнели. Цветы на длинных стеблях горели щепотью рубинов и сапфиров. Влажный воздух создавал иллюзию того, что передо мной не сад, а находящие одно на другое отражения сада в темном трехстворчатом зеркале. Зрелище завораживающее и тревожное, вызванное неспособностью взгляда восстановить цельную картину, поскольку малейшее его отклонение сдвигало расположение частей и казалось, что под определенным углом зрения весь этот сад с его напускной дикостью может сложиться, как ширма.

Дверь на задней стороне дома была белая, облупившаяся, с желтым потеком по верхнему краю и масляным пятном вокруг ручки. Она не оказала ключу сопротивления, но, когда я ее отворял, обиженно взвизгнула, вероятно, уже отвыкнув от бытового насилия или не признавая моего права хозяйничать. Жаль, что Нина обычно не замечает таких маленьких драм. Как я уже вам докладывал, к вещам она не расположена.

Мне нередко случалось входить в пустующие дома, квартиры, один раз был в безлюдном театре, и неизменно чувство, что кто-то притаился, не желая до срока выдавать свое присутствие: в пустой комнате, где негде спрятаться, и там, казалось, кто-то уже есть, опередивший меня, мои переживания. Невольно я крикнул: «Здесь есть кто-нибудь?», заранее зная насмешливый ответ: «Нет, никого».

Проход из кухни вел в прихожую, и я видел за тусклыми стеклами передней двери Нину в холодном сиянии. Она стояла боком, обхватив руками плечи, встряхивая мокрыми волосами.

Не буду оригинален, если скажу, что мое детство прошло в близости странных, страшных и комичных существ, о которых мы с малых лет учимся помалкивать. Невозможно понять, чего они хотя от меня, зачем мерещатся, манят? Хотят ли они напугать, съесть, уничтожить или приходят на помощь, тревожа намеками и знаками? Например, одноглазый вещун, семенящий вдоль стен и разбрасывающий пыль черными хлопьями. Что ему от меня нужно? Бессвязное существо с длинными щупальцами, обосновавшееся за мусорным ведром – чего от него ждать? Они вздыхают под кроватью, копошатся в шкафу, выскакивают из угла и, оставив след на душе, растворяются во мраке, уходят в складки. Даже если закрыть глаза, они не исчезают.

Как же трудно вжиться в себя!

Кто я?

Уже умер и только припоминаю день за днем то, что осталось в прошлом? Как говорит Капустин – поскольку смерть неизбежна, каждый человек уже по ту сторону жизни, и время – это работа памяти, нагоняющей забвение. Как ни пытался я разложить свое «Я», ничего не вышло: один на один. Злой клоун, соблазняя свистульками и хлопушками, уводит детей в логово старухи-колдуньи, уже приготовившей чан с кипящей водой. Красный мячик, невинно лежавший на полу, вдруг начинает покачиваться, медленно вращаясь, медленно катится по узору ковра, не то выписывая непонятные буквы, не то указывая путь по ту сторону комнаты,

дома. Темнота в углу плотнеет, чернеет, шевелится, хохлясь, щетинясь. Кто-то стоит за шторой. Радио на кухне – замызганная желтая коробочка с большой черной кнопкой – вдруг прерывает передачу «В рабочий полдень», и голос обращается ко мне, приказывает. Циферблат моргает и показывает язык. Посреди комнаты вдруг обнаружилась яма, и в ней поселился кто-то посторонний, чужой. Подхожу к окну, какая-то старуха грозит пальцем. Где-то я ее уже видел и в последующие дни постоянно встречаю. Она на меня не смотрит, занятая своими старушечьими делами. Мать не узнает меня. Что здесь делает этот чужой мальчик? Кто его впустил? – и гонит из дома. У сидящих за столом гостей лица превращаются в звериные морды, и у всех фамилии – Лисина, Волков, Медведев. Я один дома. Щелкает замок, входит незнакомый молодой человек, щегольски одетый. Приставляет палец к губам, проходит в спальню матери, роется в ящиках платяного шкафа, прячет что-то в карман, уходит, бросив на ходу: «Если кому-нибудь скажешь, что я приходил, найду и перережу горло!» Таинственные существа, как на картинах некоторых пейзажистов, пробирающиеся на заднем плане, почти сливаясь с тщательно выписанной листвой.

Мое первое соприкосновение с властью случилось, когда арестовали, или, как принято говорить, – забрали, соседа с нижнего этажа. Пришли за ним рано утром, все еще спали. Никто не знал в точности, что произошло. В чем преступление? Совратил малолетнюю, украл крупную сумму денег, взятка, убийство? Или – *политический*? Это слово, неясное мне, повторялось с каким-то особенным удовольствием. Фролова в доме не любили, и, казалось, никто не удивился. Высокомерный, себе на уме... Фролов служил бухгалтером в торговой компании, маленький, лысый, с густыми усами, в очочках, с толстым портфелем, он учтиво со всеми здоровался, но его приветствия были всего лишь мелкой данью, которую он платил, чтобы благополучно добраться до квартиры и запереться на три замка. Он любил вкусно поесть и украдкой от жены ходил в дорогие рестораны. Его мечты вертелись вокруг планов завести любовницу, блондинку с большой грудью и искусным задом, но необходимости осуществить свои мечты он не испытывал. Его восхищали громоздкие средства передвижения – поезда, самолеты, корабли, а велосипед вызывал раздражение. Спал он обыкновенно на спине, похрапывал, к неудовольствию жены, и никогда не рассказывал ей своих снов, впрочем, у нее не было причин жаловаться на невнимание и отсутствие у него фантазии, которую она понимала в узкотехническом смысле. За ужином он любил порассуждать на политические темы, но не позволял себе ничего, что выходило бы за рамки дозволенного цензурой. Иногда он думал о Боге, но, в отличие от Паскаля, ему так и не довелось испытать «*nuit de feu*». На службе его уважали за скромность и порядочность. Если ему и случалось по настоянию начальства прикрывать сомнительные операции, он не видел в этом повода задирать нос. Мир разлагался в нем на тряпочки, нитки, щепки, щебень. Было бы наивным искать в нем сокровенное знание. Он никогда не спорил со своей женой, похожей на толстую крысу, которая запрещала их дочерикрысенюшке играть во дворе, так что мы даже не знали, как ее зовут. Он вообще относился к детям, включая собственную дочь, с опаской, подозревая их в заговоре против взрослых и «всех тех ценностей, которые выработало человечество». Если делить людей на добровольцев и недобровольцев, он несомненно принадлежал к последним. Казалось, он никогда не смеялся и не нюхал цветов, но это только казалось. После его ареста жена и дочь уехали, и мы, окружив фургон, наблюдали, как рабочие грубо запихивают в него мебель и коробки.

Признаюсь, я испытал странный трепет перед неодолимой силой, которая с такой легкостью вторгается в обыденность, разрушает налаженную жизнь. Как если бы за завтраком невидимая рука забрала из-под носа тарелку с кашей. Все во мне бунтовало против произвола, против вас, представителей власти. Но большей загадкой казалось не самоуверенное насилие, а та покорность, с которой человек подчиняется чужой воле. Что-то необъяснимое и иррациональное было в готовности исполнить приказ, исходящий от людей ничем не примечательных,

безымянных, безликих, но убежденных, что они наделены *правом*. Уже тогда, глядя на торчащий из груды коробок торшер, я почувствовал, что рано или поздно я встану перед выбором – прислуживать власти или вступить в непримиримую борьбу с ней. Я еще не знал, что есть и другие пути, например, быть жертвой или ничтожеством. Власть, как говорит Капустин, – это серый лабиринт, из которого нет выхода, если не уменьшиться, не сократиться до неразличимости. Помнится, в тот год слово «лабиринт» было в моде. Его можно было найти едва ли не в каждом газетном фельетоне, в названиях книг, на афишах кинотеатров. Ни один разговор не обходился без упоминания «подвижных лабиринтов», «лабиринтов мечты» и т. п. Возникла ли эта мода спонтанно или, как бывает все чаще, была внушена из высших соображений специальными службами, занятыми общественным здравомыслием, теперь уже неважно, ибо она оказалась недолговечной и уже через год слово «лабиринт» воспринималось чуть ли не как непристойное и начисто исчезло из официально одобренных словарей. Управлять реальностью возможно лишь посредством снов, в них – приводные ремни, рычаги, коробка передач. Как только открываем глаза, раздвигаем шторы на окнах и проделываем все то, чего требует тело и общежитие, реальность уже неприступна, неизменна, неисправима. Я могу только подчиняться ее законным требованиям и пытаться ускользнуть хитростью от незаконных. Так устроено, ничего не попишешь. К этому ведут и пути, и бездорожье. Под этим стоит моя неподдельная подпись.

Кое-кто делает вывод, что к власти нельзя иметь претензий, только к ее представителям, и то к самым незначительным. Мол, чего вы хотите от театра! Посмеялся – и доволен. Уступи место другим безбилетникам... Квартира наверху долго пустовала. Наконец, в нее вселилась семья, на удивление схожая со своими предшественниками, из рода грызунов. Играя во дворе, я вновь видел в окне третьего этажа между кактусов бледное скуластое лицо узницы в обрамлении тощих косичек.

Капустин настоятельно посоветовал мне «лечь на дно». Не потому, что мне угрожала какая-то опасность – к угрозам вашему покорному слуге не привыкать. Но после всех моих смелых схем, операций, переводов нужно было, по его словам, успокоиться, прийти в себя, дать устояться взбаламученному течению времени, унять порывы. Бывают периоды, когда полезно сложить возложенные на себя обязанности. Я бы предпочел отправиться в путешествие, но Нина сказала, что никуда не поедет. Этим летом она обещала себе написать, наконец, роман. Признаться, я никогда не понимал этой страсти к писанию. Мысли должны рождаться и умирать в голове, в этом – в их интимном, естественном виде – их красота и необходимость. Иначе – сухой песок, пересыпаемый из ладони в ладонь на платном пляже, мусор, в котором копаются бездомные животные и пресыщенные коллекционеры. Если уж на то пошло, можно утешиться, что кто-то – Тот, о ком мы ничего не знаем – записывает наши мысли. Но после многих лет бурной, лихорадочной деятельности труден внезапный покой. Конечно, я не сказал Нине о том, что на даче я скрываюсь. Все было обставлено так, как будто она уговорила меня уехать на пару месяцев из города. Она давно мечтала затвориться, чтобы творить. Она устала от журнальной поденщины, от серого круговорота лиц, отнимающего время и душу. Ей необходимо уединение. Но одной ей было бы страшно среди полей и лесов... Нина для меня состоит из множества женщин, которые отличаются друг от друга не только характером, направлением желаний, но и выглядят по-разному, не сводятся к одной, предпочитают разные роли, разные декорации. Общее у них только то, что они владеют мной на правах *ususfructus*.

Первые дни я ужасно скучал, но старался не показывать, как невыносимы мне эти шаткие стены, пустота за окном, небо, как стеклянный колпак. Я не знал, чем заняться. Читать? Нет уж, увольте. Книжки читают те, у кого нет своей жизни. Любоваться растениями? Размышлять о вечном? Но я уже все размыслил.

Я не выходил за ограду. Меньше всего мне хотелось делать открытия.

Накапливать взрывоопасные знания, начиная с различия половых признаков и далее вплоть до бесплотных иерархий, становится привычкой, которая может показаться дурной только тому, кто день за днем копит страх перед самим собой. К нему слетаются птицы, но мохнатые и с длинным жалом. Ему не спится, несмотря на то что сон уже развернул перед ним свой *theatrum machinaum*. Напрасно дева учит его жизни, он лежит бессильным пластом. Или бросается в бой наголо, уверенный, что неуязвим для вражеских стрел. Он ест молча, а облегчаясь, декламирует оду на взятие Хотина. Счастье он находит, но не знает, что с ним делать, и откладывает на потом. Его любимая присказка: «Рано радуешься!» В книгах он любит фразы со стразами, а в газетах – мантические опечатки. Но общаться с ним легко и приятно, он никогда не требует ответа на свой немой вопрос.

Я стоял у окна, раскрытого в сад. И как окно, я был настезь. Агонии ночи позади, мир прекрасен и прост. Утренняя синева еще только начинала задумываться об облаках и имела смутное представление о тучах и грозах. Я видел то, что к полудню станет невидимым. Тишина утешала шелестом, щебетом, свистом. Но я не завидовал ни птицам, ни насекомым. Если бы под рукой был лист бумаги, я бы нарисовал на нем круг. Мысль о том, что в эту бесконечную минуту Нина в соседнем кабинете занята кропотливой умственной работой, наполняла меня счастьем, ясным, как кристалл. Я легко поднимался к Абсолюту, сходил в бездну.

Исчерпав невидимые линии, я опустил набрякшие небом глаза в наш беззаботный сад и – едва не отпрянул. Первым моим побуждением было задернуть занавеску. Или спрятаться в глубине дома, который, увы, предательски плоск.

А Нина?

Что сказать ни о чем не подозревающей жене? – Лезь в шкаф? Сбрось халат и притворись статуей?.. И как ей объяснить? Она бы подняла меня на смех, в который раз усомнившись, что в моем роду не было тех, кого врачи из сострадания именуют «вольнодумцами».

Я постарался убедить себя, что идущий по направлению к дому незнакомец – всего лишь почтальон, и даже начал обдумывать, кто мог направить мне в эту глушь депешу. Но тотчас сообразил, что у проникшего в наш сад человека нет того, что делает почтальона – почтальоном: большой кожаной сумки, набитой письмами. Будь у меня под рукой не лист бумаги с недорисованным кругом, а ружье, я бы вряд ли удержался от соблазна выстрелить в нарушителя, чтобы, убедившись в своей меткости, закопать его здесь же, в саду, и потом еще долго испытывать приятное возбуждение, сродни поэтическому, от мысли, что никогда уже не узнаю, кто он и с какой целью возмутил наш покой.

Шел он медленно, не торопясь, развязно. Сорвал цветок и, не глянув, отбросил. Поднял что-то с дорожки и сунул в карман, ухмыльнувшись. Остановился перед старой яблоней, низко развернувшей мозолистые ветви, долго рассматривал сморщенные, в пятнах листья. Светлый парусиновый костюм и шляпа-панамы делали этого худого, высокого человека похожим на сельского учителя. Свернув направо, он скрылся за угол дома. Я поспешно сбежал вниз. Незнакомец уже небрежно расположился в дальнем углу открытой террасы, в плетеном кресле, положив на перила замызганную панаму. Он смотрел на меня с таким видом, будто не он, а я должен объяснить свое появление. Он был весь вогнут, и карикатурист непременно изобразил бы его лицо в виде луны на ущербе. Длинные ноги слишком длинны, короткие руки короче, чем следует.

– Вы один? – спросил он вместо приветствия.

– Я? – краска невольно обожгла щеки. – С женой.

– С женой? – засмеялся незнакомец. – Жена – это прекрасно. У меня нет жены.

Я продолжал стоять на пороге, подбирая слова и тон, чтобы спросить, кто он такой – с кем имею честь, зачем пришел – пожаловал. Я не знал, какие отношения связывают его с хозяином дома, который, возможно, забыл или не посчитал нужным известить его о своем бегстве

и о нашем приезде. Но что-то мне подсказывало, что ему известно, кто я и почему нахожусь в этом доме. Он пришел по заданию, но не с целью выведать, насколько я опасен, а для того, чтобы я не возомнил себя здесь, в деревне, неуязвимым, отпущенным на свободу. Кого он, в таком случае, представляет? Власть, вынужденную постоянно напоминать о себе, чтобы в нее поверили? Или его послали на разведку те темные преступные личности, к услугам которых мне иногда приходится прибегать ради пользы дела и которые неизбежно со временем становятся моими врагами – когда я уже не нуждаюсь в их услугах, а они упрямо не желают отойти в сторону и смириться с тем, что отыграли свое. В таких случаях мне часто не хватает такта, гибкости и выдержки. Мы квиты, говорю я, не понимая, что наношу тем самым смертельное оскорбление *элементам*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.